

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

Р 181184



# ЛЕНИНГРАДЦЫ

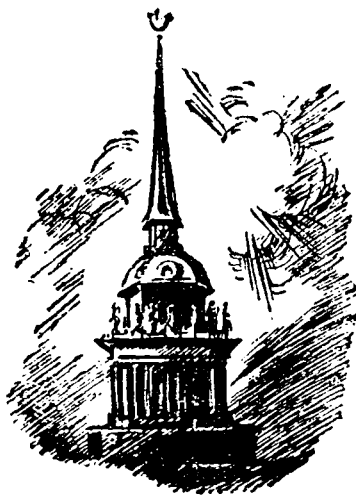
ДЕТГИЗ 1944



ВОЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

# ЛЕНИНГРАДЦЫ



*Рисунки В. ЩЕГЛОВА*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
НАРКОМПРОСА РСФСР  
МОСКВА 1944 ЛЕНИНГРАД

T-46-



## ПОЕДИНОК

Немецкий летчик отчетливо видел свою добычу. Посреди похожего на зеленый пирог леса проходила узкая желтая полоса. Там по насыпи полз длинный состав с военным грузом, и пикировать на лес было просто незачем: надо только подождать, когда поезд приблизится к выходу на открытое пространство между двумя лесами, и тут разбомбить его спокойно и безошибочно.

Самолет развернулся, потом, проблистав на солнце, сделал еще круг и, набрав высоту, нырнул в поле. Два фонтана грязи и земли встали по обе стороны насыпи там, где полагалось быть поезду. Но когда летчик посмотрел на лес, то он увидел, что поезд, дойдя до открытого пространства, стремительно бросился назад в лес. Бомбы легли зря.

Немец сделал еще круг, решив, что теперь он уже не промахнется. Поезд мчался по открытому пространству. Откуда он мог знать, что теперь ему приготовлена встреча в лесу и тяжелые сосны повалятся на вагоны, сброшенные со своих мест гремящим ударом?

Сосны упали впустую. Поезд проскочил это место. Бомбы снова были потрачены понапрасну.

Летчик выругался. Неужели этот неповоротливый, длинный извозчий состав сможет пройти безнаказанно? Немец спикировал прямо на лес, на середину состава. Возможно, он плохо рассчитал, возможно, тут произошла какая-то случайность, но бомбы попали не в поезд, а в лес. Неуловимый состав продолжал свой путь, упрямо идя вперед.

— Спокойствие! — сказал немец. — Теперь мы поговорим всерьез.

Он стал рассчитывать, строго и внимательно озирая пространство. Его даже увлекла эта простая охота.

Он ринулся опять из облаков к самой земле, туда, где прозрачная полоска дыма дрожала в раскаленном воздухе. Казалось, он врежется в паровоз. Но кто-то будто вынул из-под него поезд в последнюю минуту. Грохот взрыва жил еще в ушах, но было ясное ощущение: впустую. Он посмотрел вниз — так и есть: поезд шел, не пострадав ничуть.

Немец понял, что чья-то не менее упорная воля не уступает ему, что у машиниста железный глаз, расчет удивительный и точный, что не так-то легко его поймать.

Поединок длился. Бомбы ложились впереди, сзади, по бокам поезда, но это чудовище, как называл его про себя немец, шло к станции, как будто его охраняли невидимые духи.

Поезд делал какие-то дикие прыжки, все сцепления визжали неистово, на спуске он мчался, как лошадь с закушенным мундштуком, и не лез вперед именно тогда, когда его ждали очередные бомбы. Он пытался, останавливался, плелся шагом, летел, как стрела. Чего только не выкидывал этот скучный длинный состав, покорный своему водителю!

Бомбы рвались, как хлопушки.

Немец был в поту. Он плевал вниз и снова и снова бросался в атаку. Последний раз он угадал правильно: поезду не спастись. Машинист впервые неточно сманеврировал.

Проклятье сорвалось с обветренных губ фашиста: бомбы все... бомбить нечем!

Тогда он прошелся вдоль поезда, осыпая его пулеметными очередями, но тут явился снова лес, какой-то



дьявол подкинул его некстати, и поезд снова невредимо катил в зеленом мраке, и казалось, его ничто не берет.

Фашист обезумел. Он целил в паровоз, в этого скрытого там, за тонкой стенкой, врага, в этого страшного русского рабочего, что смеется над всем его мужеством «асса»<sup>1</sup> и ведет свой поезд по простору полей и лесов, как сумасшедший. Пули проносились над поездом, некоторые попадали куда-то под колеса, ударились о рельсы, но поезд шел...

Немец откинулся в изнеможении. Небо сияло. Была хрустальная ровная осень, чем-то похожая на вестфальскую<sup>2</sup> далекую осень. Патроны кончены. Поединок кончен. Русский там, внизу, победил. Ударить в него всей машиной? Безумие остановить безумием? Дрожь пошла по спине фашиста.

Он снизился и с любопытством и ненавистью прошел над поездом. Он не мог видеть, что за ним следит пристальный глаз машиниста. Машинист сказал только:

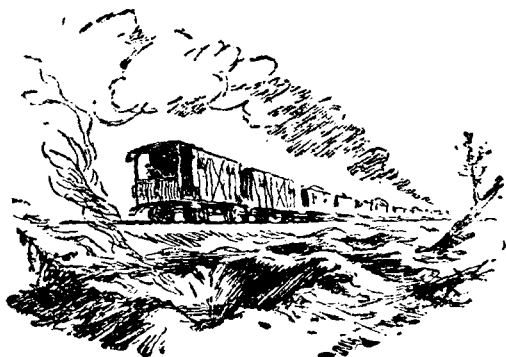
— Что, гад, взял?

И паровоз с презрением пересек черную тень, раздавив ее, — тень вражеского самолета, распростертую на пути.

---

<sup>1</sup> Асс — летчик высшего класса.

<sup>2</sup> Вестфалия — провинция в северо-западной Германии.







## РУКИ

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.

Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, как будто ты двурукий. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, — уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: «Дело не медведь, в лес не убежит». Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете<sup>1</sup>, проси товарищей вытаскивать,

<sup>1</sup> К ю в е т — боковая отводная канава на шоссейных дорогах.

самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползает туман, то дохнёт с Ладоги ветер, каких он нигде не видел, — пронзительный, ревущий, долгий, то начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают, товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим, и, главное, груз надо доставить во-время. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большаков остановил машину, вылез из кабинки и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке сбегает непрерывная струйка.

Холодок прошел по его спине: цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы привезти к месту пустую цистерну! Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять долго и просто смотреть — этим делу не поможешь.

Большаков, проваливаясь в снег, пошел к кабинке, открыл ящик с инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был, как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, вернулся к цистерне и влез на борт. Бензин лился ему на руки и был какой-то странный. Он жег ледяным огнем, он пропитывал насквозь рукавицу, он просачивался под рукав гимнастерки.

Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздохнув, он пошел на свое место.

Проехав километров десять, Большаков опять остановил машину и пошел смотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь.



Дорога была бесконечной. Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины; он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина. Ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок-пятьдесят, но если бросить чеканить через каждые десять-двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватается зубилом, а щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые странные пространства, огромные, неохватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже было не страшно.

Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился.

Иногда он стучался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него, замерзшего, в дым усталого, жила одна радость: он твердо знал, что выдержит.

И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облесшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал он, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

— В Ленинград вез, фронту, — ответил он громко, на всю землянку.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак... — протянул он, — в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться? До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажем.





## МАТЬ

— Пойдем навестим его! — сказала мать, и Оля знала, кого она называет так.

«Он» — это сын, Олин брат Боря, доброволец. Он сказал, что идет в армию вместе со всеми товарищами его курса. Мать стояла перед ним маленькая, прямая, озабоченная.

— Ты близорук и слаб здоровьем, — сказала она. — Ты не боишься?

— Ничего, мама, — ответил Боря.

— Ты никогда не воевал, тебе будет очень трудно.

— Ничего, мама, — сказал Боря, собирая свой мешок.

...Мать с Олей ходили не раз в ту деревню, где он учился военному делу. Он приходил с занятий возбужденный, усталый, запыхавшийся, загорелый, садился, и они разговаривали о городе, о знакомых, о друзьях. О войне они ничего не говорили, потому что вокруг и так все было полно войной.

Для Оли прогулки к брату за город казались летними прогулками, дачными, обыкновенными, по местам приго-

родным, знакомым. Они возвращались, собрав в поле цветы, к электрическому поезду и приезжали в вечерний город, полный суеты и военной озабоченности.

Только в последнее время все перепуталось. Фронт проходит уже где-то близко, и Олю беспокоило, как они отыщут брата сегодня, когда все стало не похожим на те воскресенья, тихие и дачные, в которые они приезжали навещать Борю.

Они шли по полям, уже по-осеннему пустым; дачи стояли заколоченные; навстречу им шли возы, машины; у дороги суетились беженцы с детьми, с узлами, с мешками за спиной; из канавы убитая лошадь подымала деревянные ноги к небу; проходили бойцы, звеня котелками; где-то недалеко оглушительно стреляли...

Они уже далеко ушли от шумного шоссе.

Они шли знакомой тропинкой, но вокруг все было не так и не то: поломанные изгороди, отсутствие людей, какая-то настороженность, тревога, ожидание чего-то грозного. В поле под кустами лежали красноармейцы у пулеметов, замаскировавшись возками, и, когда они вошли в первую деревню, она была пуста, совсем, совсем пуста. Даже воробьи не кувыркались в пыли; ни одной курицы, ни одной собаки. Дым не шел из труб. Сиротливо стояли перед домами пустые покосившиеся лавки. Деревня такой была только в белые ночи, перед зарей, когда все спит. Но сейчас никто не спал — это была пустыня.

Оля храбро шла в тишине этой пустыни за матерью, шагавшей тихими, но уверенными шагами все дальше.

Вторая деревня горела. Поднявшись на пригорок возле нее, они невольно остановились. Рыжие гривы огня металась над крышами, и никто не тушил их. Несколько изб было превращено в кучу щепок, и это было удивительное зрелище.

Оля потянула мать за рукав, но та сказала спокойно: «Нам нужно пройти к той роще», и они пошли по улице между горящими домами.

Когда они прошли деревню и спустились в небольшую лощину, раздался какой-то все увеличивающийся визг. Он приближался так настойчиво и неотвратимо, что ушам было больно его слушать. Мать остановилась и нагнула голову. Оля сделала то же самое. Она понимала, что обе делают не то, что надо: броситься с





дороги и лечь лицом к земле, но ведь им надо итти, отыскать Борю, а если они будут падать перед каждым снарядом, то они никогда не дойдут, никогда не увидят его.

Снаряд разорвался за холмом. Фонтан земли медленно опадал в воздухе. Только он осел, другой снаряд ударил. Дальше они бежали, спотыкаясь, по кустам, так как на дороге непрерывно взметывались черные клубы, пересекаемые красными молниями. Оля дрожала всем телом, у нее пересохли губы, но мать шла неумолимо, и Оля следовала за ней с нелепой мыслью: «В нас не попадут, не должны попасть. Не должны...»

Деревни, в которой жил и учился военному делу Боря, просто не было. Вместо нее торчали черные столбы, и кое-где обугленные доски образовали причудливые скопления. Даже деревья сгорели или были вырваны с корнем и валялись среди огромных ям, наполненных мутной зеленоватой водой.

— Мама, — сказала Оля, — куда же итти теперь?

Мать стояла молча. Оле стало жаль ее, такую маленькую, усталую, упрямую.

— Мама, — сказала она снова, — пойдем домой! Ну куда же нам еще итти?

— Пойдем еще немного вперед, — сказала мать, — там спросим...

И они снова шли. Всюду теперь они видели лежащих в траве, в канавках красноармейцев, смотревших влево. И вдруг им навстречу вышли из маленькой бани три бойца. Мать направилась к ним и радостно сказала одному из них, высокому, худощавому, веснущатому.

— Если не ошибаюсь, вы Павлик?

Боец удивленно расширил глаза, мгновение осматривал внимательно маленькую женщину, стоявшую перед ним, и сказал:

— А вы мать Бори, да?

— Да, — сказала она. — Я хочу его видеть. Где мне его найти?

— Найти? — несколько растерянно сказал Павлик. — Идите, как шли, прямо, вот на тот холм, но лучше вам и не ходить... Вам его трудно будет найти. А потом... — он вдруг улыбнулся, — ведь кругом идет бой, мы почти в окружении, как же вы тут гуляете?

— Мы не гуляем, — ответила мать, — мне нужно пройти к Боре... Мне нужно...

Она сказала это таким жарким и глубоким голосом, что Павлик — он был из одного института и из одного батальона с Борей — сказал только:

— Ну, идите.

...Мать сидела в высокой траве, прижавшись спиной к бревенчатой стене бани. Оля сидела рядом, затаив дыхание. Красноармеец показывал вниз, на болотистую длинную поляну, поросшую кустами; кое-где блестели ручейковые светлые извивы. Поляна уводила к лесу, и там, за лесом, на холме, виднелась деревня. Над всей этой местностью стоял, можно сказать, ослепительный грохот. Батарея наша была откуда-то из-за спины по деревне, а немецкие пушки держали под обстрелом поляну и подступы к той возвышенности, где сидели мать и Оля.

— Они только что ушли в атаку, — говорил красноармеец. — Как хотите, ждите или нет. Они пошли во туда... В атаку...

— Вы знаете Борю? — спросила мать.

— А как же, знаю. Он тоже там.

— А как он стреляет?

— Он стреляет подходяще.

— И не трусит?

Красноармеец, бывший студент, обидчиво повел плечом:

— Если бы был трусом, мы его в свою компанию не взяли бы...

Они замолчали. Молча смотрели, как горит там деревня, на холме. Из лесу был слышен гул голосов, кричавших «ура» или что-то другое, длиннее, — слов нельзя было разобрать. Лес, освещенный заревом пожара, казался кровавым.

Мать встала и подошла к краю холма. Она точно хотела увидеть своего сына, найти его в чаще этого леса раздираемого боем, увидеть его, бегущего с винтовкой туда, в горящую деревню. Она стояла долго.

Потом она сказала Оле:

— Пойдем, — и, не оглядываясь, пошла по тропинке к дороге.

— Не будете дожидаться? — закричал красноармеец

— Нет, — сказала она, — спасибо вам за разговор.  
Идем, Оля.

Они уже вышли ва дорогу.

— Оля, — сказала мать, — ты устала, милая...

— Нет, мама, я боюсь, как мы доберемся. Я чего-то стала трусихой...

Мать усмехнулась своими тонкими губами.

— Ничего с нами не будет, Оля, — сказала она снова, помолчав. — Теперь я спокойна. Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что он слаб, что он плохо видит, — я решила проверить. Я проверила: мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой.

И она пошла быстрыми маленькими шагами, маленькая, прямая, легкая...



48/181



## ДЕВУШКА

Неуклюжая тетка в большом байковом платке набежала на нее в темноте, испуганно вскрикнув:

— Ай, кто это здесь?

— Я! — сказала девушка, сидевшая на ступеньках. — Это я — Поля.

— Чего же ты не бежишь-то?.. Ведь тревога гудит! Сейчас бомбы тебе на голову пустят!

— Вот я их и жду, — спокойно сказала Поля.

— Чего ж их ждать-то? Спасайся в убежище!

— Моя служба такая. Иди, иди, тетка, а то вправду тебя зашибет.

— И пойду. А она, ишь, сидит на ступеньках, бесстрашная какая!

— Я не бесстрашная, я разведчица.

Поля сидела на ступеньках и во все глаза следила за небом, на котором пересекали друг друга прожекторы, лопались ракеты, повисавшие красивыми пучками, золотые нити трассирующих пуль уходили в синий купол, и

над всем стояло прерывистое враждебное гуденье летавших над городом самолетов. И, всем телом сжавшись, ждала она того страшного завывания, гула и огненного плеска, который должен сейчас возникнуть. И Поля первая бросится к тому месту, чтобы просигнализировать в штаб местной обороны, куда ударила бомба.

Втянув голову в худенькие плечи, закрыв глаза, слушала она нарастающий вой. Раскалывающий голову удар пронесся по улице. Теплая волна ударила в уши, толкнула в грудь. Поля соскочила со ступеньки, шатаясь побежала вдоль улицы, туда, где только что упали стены и еще стояло, не рассеявшись, облако дыма. Свежие развалины вставали в темноте ночи. Зубцы изорванной стены чернели высоко над девушкой; улица была усеяна обломками, битым стеклом, каким-то невообразимым сором. Через минуту она уже звонила из соседнего дома о размерах бедствия. И сейчас же бросилась в тьму развалин, откуда слышались крики, стоны, вопли.

Так было изо дня в день. Никто быстрее ее не обнаруживал очага поражения, никто не умел так самозабвенно работать, так ухаживать за ранеными, проводить целые ночи среди шатающихся стен, рушащихся балок, откапывая людей, засыпанных обломками.

Иногда, обтирая пот обратной стороной ладони, она садилась и смотрела на работу спасательных команд как будто со стороны. Развороченные дома, темный город, мелькающие в руках людей маленькие фонарики — все ей казалось неведомым, несуществующим, небывалым.

Ведь были ночи — мирные, веселые, с огнями трамваев, с песнями, танцами, молодежью... Да, все это было. Все это будет. А сейчас...

— Что же это я засиделась? — кричала она и вскакивала — и снова принималась таскать, разгребать щепень, работать киркой и лопатой.

Она стала удивительно спокойной, твердой в решениях, крепкой нервами. Ее ничто не могло уже удивить.

Раз, прибежав к месту разрыва бомбы, она увидела при лунном свете, как высоко над грудой рухнувших этажей, точно в воздухе, стоит женщина в одной рубашке, прижавшись к остатку стены в углу, случайно уцелевшем на пятом этаже. Женщина стояла неподвижно, как статуя, как мертвая, упершись руками в куски сте-

ны справа и слева. И Поля смотрела, не отрываясь, на белое пятно ее рубашки. Она думала только о том, как бы поскорее ее оттуда снять и как это сделать.

Другой раз прямо на нее бежала молодая, с растрепанными волосами женщина, прижимая к груди ребенка. Испуганная взрывом, вне себя от страха за ребенка, она могла бежать так через весь город. Поля схватила ее в объятия, погладила по голове, сказала:

— Вот и всё!

— Что всё? Что всё? — забормотала женщина.

— Всё, — сказала Поля, — уже всё! Больше страшно не будет. Сядь, отдохни. Сейчас я тебя укрою...

И она отвела сразу успокоившуюся женщину на санитарный пост.

Сколько она перетаскала раненых, ушибленных, искалеченных, эта хрупкая девушка с большими, слегка удивленными глазами! Скольких успокоила, ободрила, даже рассмешила своими острыми словечками, сказанными кстати!

— Скоро юбилей будешь праздновать, Поля, — говорили подруги: — у тебя уже к сотне спасенные приближаются.

Бомбежки сменились артиллерийскими обстрелами. Это было не так шумно, но подбирать раненых на улице, в темноте, под визг осколков и свист проносащихся над головой снарядов было делом нелегким. Но она подбирала десятки раненых и перетаскивала их на своей спине.

Огневой налет в тот отвратительный, холодный, ветреный вечер был особенно жестоким. Поля прижалась к стене за ящиком с песком, и над ее головой осколки ударили в дом. Посыпалась кирпичная пыль, по мостовой запрыгали куски штукатурки, выбитые стекла. Потом кто-то застонал почти рядом. Улица была пустынна. Редкие пешеходы лежали на земле, вставали, бежали в дома или снова прижимались к мостовой.

Поля прислушалась. Стон был действительно рядом. Она осторожно перебежала туда. Пламя нового снаряда осветило улицу. Она упала. Снаряд угодил в тротуар, и звон удара долго жил в ушах. Сердце колотилось. Поля увидела лежащего у дома паренька. Где она видела его раньше? Ну конечно, весной на футбольном матче. Изумрудная лужайка. Смех вокруг. Разноцветные майки. Молодость. Солнце. Яркая музыка. Теплый, ясный день



с курчавыми облаками. И этот парнишка, которому приятели кричали:

— Эй ты, хавбек! Держись!

Сейчас он лежал без памяти, но, когда Поля нащупала его рану — он был ранен осколком в бедро, — он очнулся и застонал еще сильнее. И она сказала, перевязывая его:

— Эй ты, хавбек! Держись! Слышишь?

Парнишка замолчал, и она помогла ему встать. Итти он не мог. Он почти навалился на нее, и она тащила его во тьме, рассекаемой красными длинными мечами.

Но, вероятно, этот удар расколол пополам улицу и все дома и всё вокруг, потому что Поля потеряла сознание. Она лежала на мягкой зеленой лужайке, и ей теперь говорил незнакомый голос: «Эй ты, хавбек, держись!» Но она не могла ни смеяться, ни даже пошевелиться. «Это мой девяносто восьмой раненый», подумала она почему-то и снова потеряла сознание. Но в руке она держала руку того, лежащего молча рядом.

И когда над ними наклонились люди, Поля сказала чистым, звонким голосом:

— Возьмите его, он тяжело в бедро... — и не договорила.

— Ноги, — сказал кто-то в темноте, — она ранена в ноги.

Она не слышала. Она говорила кому-то на мягкой зеленой лужайке:

— Мне холодно! Какая зеленая холодная трава...

Больше она ничего не видела в эту ночь.

...Но она осталась жива. Когда она впервые пришла в себя, был действительно мягкий солнечный день, и в окно глядели большие зеленые сосны.







## КУКУШКА

Рубахин работал на столбе уверенно, как всегда. Привычно он ощущал кошки, которые вонзились в столб и держали его навесу, привычно осматривался со своей высоты и видел внизу грузовик, на котором лежали запасное колесо, пустой бидон, веревки и тряпки. Сизов возился с мотором, Пахомов выбирал инструменты из ящика. Вокруг был знакомый пейзаж, много раз уже виденный и перевиденный. Вдали возвышались замаскированные цистерны какого-то склада, высокие желтые заборы с грибом часового на углу, насыпь, делавшая поворот, несколько маленьких домиков в тени одиноких пыльных деревьев, асфальтированная дорога, кончавшаяся шлагбаумом с будкой.

В утреннем прохладном ветерке уже ощущалось приближение осени, и, если бы не эти порванные обстрелом провода, он, линейный монтер Рубахин, нашел бы все обыкновенным. Работай, посвистывая себе под нос, не первый раз делаешь такое!

По дороге брели одинокие прохожие, пробегали грузовики, где-то там, у дальних холмов, рокотали пулеметы.

ты, а если круто повернуть голову, увидишь в синеватой дымке море городских домов, над которым возвышаются трубы. Из труб тянутся длинные полосы пестрого дыма, как на школьной картинке, которую дочка раскрасила цветными карандашами. «Она у меня художница будет», подумал Рубахин. Во время работы мысли у него были только самые легкие, так как все внимание уходило на другое.

Как началось это, он понял не сразу. Сначала до его ушей дошел какой-то чужой, нарастающий звук, от которого голова ушла в плечи; потом дикий грохот раскатился вокруг, и ему показалось, что он летит куда-то вбок. Но вот он пришел в себя, и только огромное сизое облако, ползшее к небу, да тошнота, подступавшая к горлу, сказали ему, что случилось.

Потом он услышал крики. Напрягая слух, он разобрал, что ему кричал Пахомов, приложив ладони ребром к губам: «Рубахин, слезай, слезай сейчас же!» Крик был настойчивый и испуганный.

И, перекрывая крик, снова появилось могучее гуденье, как будто давившее все остальные звуки, проникавшее в плечи, в спину, как ураган, грозившее смести все вокруг, и он увидел, как на дороге взметнулась пыль, точно ее прочесал огромный гребень.

Нет, он не слезет. Не первый раз он попадает в такую перепалку. Рубахин не мог видеть хищника, который пронесся над ним, но почувствовал всем существом, что висит в воздухе, беззащитный, как этот столб на дороге, с которым связала его судьба. Он не смотрел уже вниз и по сторонам. Собрав все внимание, он ушел в работу, как будто за ним не охотился тот, наверху, промчавшийся ввысь. Рубахин знал, что «тот» вернется, а сколько раз он будет возвращаться, об этом Рубахин не думал.

Пот выступил на его лбу, мускулы сразу размякли, во рту были пыль и песок, хрустевшие на зубах. Снова грохот взрыва раздался сзади него, подальше. Его ударило землей в плечи, как будто черная волна перекатилась через его голову. Рубахин работал теперь с полузакрытыми глазами. Разноцветный туман плавал над дорогой. Он впал в странное состояние, при котором помнил и чувствовал только одно: повреждение на линии надо исправить. «Срочно исправить!» сказано в его наряде.



«Срочно исправить!» С этого мгновения все вокруг стало нереальным, как во сне.

Грохот, переходивший в вой, кружил над ним; казалось, что столб сейчас улетит, распавшись на куски; яростное жужжанье наполняло все небо; треск, как будто раскаленная дробь прыгала по металлическим плитам, отдавался в ушах; болело все тело. Но ведь сколько раз бывало так! Неужели сегодня это в последний раз? А может, Рубахину только кажется, что он жив, а его уже нет, и этот туман и грохот — только продолжение еще живущего сознания?.. Собрав остатки сил, он закричал хриплым голосом неизвестно кому. Да еще кричал ли он? Может, его крик просто звучал, как хриплый шопот, который некому было и слышать. Он кричал:

— Не сразу!

Он не помнил своих движений и не мог бы связно рассказать, в какой последовательности двигались его руки, но они, эти чудесные руки, как бы жили отдельно, они делали свое дело, и он доверял им и знал, что они делают свое дело хорошо.

Какая-то торжественная тишина наступила в мире, и в ней он услышал мерный и четкий крик птицы. Он слышал, что это кукует кукушка. Он жадно считал эти удивительные звуки, такие обыкновенные. Ему показалось, что он стоит на лесной поляне и кругом него зеленый прохладный полумрак; где-то журчит ручей, шумят ветви сосен, и спокойная птица, как бы утешая, говорит с ним...

Он считал, как кукушка выстукивала. Радость пронизывала все его существо. Шесть, семь, восемь, девять, десять...

— Буду жить! Буду жить! — прошевелил он пыльными губами и глубоко вздохнул.

Снова надвинулось страшное жужжанье, и голос птицы исчез, но теперь ему было совсем не страшно. Наступали мгновения тишины, и ему снова слышался ободряющий голос кукушки. Может быть, она уже и не кричала, а ему только казалось, но и этого сознания было достаточно, чтобы снова ощутить свои плечи и руки и увидеть блестящие кошки, врезавшиеся в податливую смолистую древесину столба.

Откуда взялась кукушка, почему кукушки здесь, где нет ни леса, ни тишины, он не думал об этом. Кукуш-

ка — это хорошо, это к добру. Жить! — вот что било ему в виски, от чего сжималось сердце под черным обшарпанным комбинезоном. И снова находили волны грохочущего дурмана, и столбики пыли кружились на дороге, и где-то вдали, как на картинке, сидела дочка, раскрашивавшая карандашами, путая цвета, небо — в красную, а дорогу — в зеленую краску. И до нее было так далеко, что если слезть со столба и итти, то итти пришлось бы целый день, а то и больше.

Свежий ветер пахнул ему в лицо. Он не мог бы сказать, сколько времени он работал на столбе, но он сделал, что надо: линия восстановлена. Можно спускаться на землю.

Кукушка, милая, добрая кукушка, кричала в его ушах, когда он, с трудом передвигая онемевшие ноги, коснулся сапогом пятнистого щебня у основания столба. Он стоял на дороге, прикрыв глаза рукой от слепящего света, и оглядывался. Он увидел вырванные с корнями молодые деревца, опрокинувшие на дорогу свои кудрявые побуревшие вершины; он увидел догоравший грузовик, так странно повалившийся набок; увидел ничком лежавшего человека, из-под головы которого выбежали и застыли на светлом асфальте три черные струйки.

Он оглянулся на столб. Столб был избит, как будто его хлестали железным бичом, но ни один рубец не поднимался по столбу выше человеческого роста.

— Рубахин! — закричали ему. — Ты жив, Рубахин?

Он пошел на голос шатаясь. Из кустов вышел бледный, почти в лохмотьях человек, в котором он признал Андреева. И тут же он увидел пикап, с которого соскакивали люди, и санитарную машину, носилки, на которых лежал изредка стонавший раненый.

— Сизова задело! — кричал ему почти в ухо Андреев.

Он подошел к лежавшему на дороге, наклонился над ним и сказал тихо:

— Сизов, эх, Сизов!

— А ты, Рубахин, цел весь? — закричал снова Андреев, подходя к Рубахину.

Рубахин осмотрел себя. Брюки его были порваны, рукава комбинезона висели клочьями. Да, он был цел... Он увидел опять голубое небо с почти летними облаками, маленькие домики, до которых рукой подать, шоссе, по

которому катились грузовики, и на железной дороге — дымок приближающегося состава.

— Надо ехать дальше, — сказал он строго. — У нас еще есть наряд.

— Я знаю, — ответил Андреев, — вон и пикап уже тут.

Садясь в пикап, Рубахин видел, как уносили безжизненное тело Сизова, как захлопнулись дверцы санитарной машины за носилками, на которых тихо стонал Пахомов. Пикап тронулся. В мире наступила тишина, и сердце Рубахина билось, как после долгого бега по холмам.

Пикап дошел до поворота дороги, и тут, вскочив с места, Рубахин закричал вдруг: «Стой! Стой! Остановись!» — так громко, что шофер сразу затормозил.

Рубахин соскочил с машины и, переваливаясь, пошел тяжелым шагом к домику с открытым окном, таким приветливым и маленьким. По стенке домика вился плющ, у домика зеленели грядки, и в клумбе подымал голову какой-то чахлый цветочек. В окошке виднелась головка крошечной девочки.

И в тишине садика, в котором не было ни одного дерева, ясно и четко куковала кукушка. Она размеренно куковала Рубахину долгую жизнь. Это был тот таинственный голос, который дал ему силы там, на столбе, в страшные минуты, когда земля содрогалась от разрывов и пули взрывали пыль на дороге.

Бантик в косичке крошечной девочки был такой зелененький, как эта зелень на узких грядках, а за спиной девочки безустали куковала кукушка, наполняя все своим победным кукованьем.

Девочка, с удивлением морща бровки, смотрела, как огромный, тяжелый дядя в рваном комбинезоне просунул голову в окошко и оглядел комнату. Отстранившись и не зная, что делать, заплакать или закричать, следила девочка, как этот дядя, соскочивший с машины, не отрываясь глядит на старые большие часы, под которыми качаются гири, а наверху, высунув желтую смешную голову, маленькая птичка кланяется в окошке своего домика и выстукивает своим кукованьем, что сейчас в мире одиннадцать часов.

— Это твоя кукушка? — спросил Рубахин.

Девочка, от растерянности забывшая заплакать, ответила медленно:

— Моя.

— Береги ее, — сказал Рубахин. — Эх ты, маленькая!..

И, поцеловав девочку, он быстро зашагал к пикапу, где все с недоумением следили за ним. Он влез в пикап и сказал:

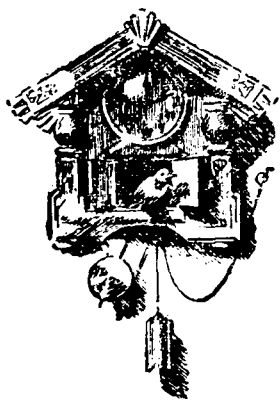
— Пошел дальше...

— Знакомая, что ли? — спросил Андреев, сморкаясь в большой клетчатый платок и вытирая пыль со лба.

— Знакомая, — ответил Рубахин не сразу. — Кукушка!

— Ну, уж ты скажешь! — сказал Андреев. — И совсем девчонка на кукушку не похожа. Правда, из окна, как из гнезда, глядит, но уж кукушка... нет, совсем не похожа.

Пикап тронулся.





### «Я ВСЕ ЖИВУ»

Это был первый случай, что его послали представителем от завода. Надо было выступить на одном небольшом собрании и рассказать о своей работе.

— Я не умею говорить много, — сказал он серьезно.

— Иди, иди! — отвечали ему. — Ты у нас передовой, ты коротенько расскажи, как ты, работая по третьему разряду, выполняешь работу пятого, как слесарем стал, ну и еще что-нибудь.

Собрание было коротким.

— Время военное, — говорил он солидно, как бывалый производственник, и даже вызвал улыбки у присутствующих, когда сказал басом: — Из старых рабочих на



моем участке осталось только двое: я да Степанова. Все на фронт ушли, или заболели, или померли, или эвакуированы. Степанова старше меня. Ей примерно девятнадцать-двадцать, а мне примерно пятнадцать-шестнадцать...

Собрание ему понравилось, потому что на нем выступали очень интересные люди, из которых каждый смог рассказать много любопытного о своей профессии, о днях осады, о зиме, о пережитых опасностях.

Возвращаясь, он шел, слегка задумавшись, по набережной небольшой реки; деревья уже были в зеленом уборе, набережная была чистая, как вымытая, город ничем не напоминал мрачные зимние дни. Он сел на скамейку и с удовольствием стал смотреть по сторонам.

Целую зиму ему некогда было думать о себе, а теперь собрание и все, что он услышал там, вызвало в нем целый поток воспоминаний. Он видел себя в родной деревне, видел сестру, шедшую с ведрами по двору, видел братьев: одного, маленького, верхом на колхозной лошади; другого в гимнастерке и в сапогах со шпорами — он пришел тогда из армии. Теперь брат дерется с немцами. Из дому писем не пишут. Верно, тоже работают на оборону, как он: днями и ночами. Вспомнились первые месяцы в Ленинграде в ремесленном, потом слесарный цех, каким он его увидел в первый раз: с брызжущими металлическими стружками, с ворчаньем и стуком станков, с прохладой большого зала.

Все ему нравилось, все шло гладко, руки как будто понимали без его указаний, как и что надо делать. Он обожал работу. Он даже с каким-то изумлением смотрел, как выходят из-под его рук детали, сделанные им. И то, что это было сделано именно им, наполняло его гордостью. Он ни за что не покинул бы завода, не уехал бы ни в деревню домой, как сделали его маленькие товарищи, ни переменял бы город. Город был такой огромный, что каждый раз можно было увидеть новое, сколько бы в нем ни ходить. Затем он увидел его, как в каком-нибудь страшном кинофильме, когда началась война и ночами горели дома, падали бомбы, прожекторы освещали небо, непрерывно гремели зенитки. Он помогал вытаскивать из-под развалин засыпанных обломками. Это была трудная и опасная работа. С ним работал и тот

мастер, добрый Парфений Иванович, который прозвал его, Тимофея Скобелева, странным именем: «Я все живу».

Случилось это так. Парфений Иванович пришел в общежитие и говорил с ребятами об их жизни. На Тимофея находили припадки застенчивости, и он путал слова. Волнуясь, он на вопрос: «Ну, как живешь?», ответил не как хотел: «Я хорошо живу», а чего-то заробел, спутался и сказал: «Я все живу». Все засмеялись. Потом они подружились с Парфением Ивановичем и тот шутливо спрашивал, приходя в общежитие:

— А как этот, «Я все живу»? Жив еще?

— Жив, — отвечали ему и тащили к нему Тимофея.

Он сидел на зеленой скамейке, напротив пышного весеннего сада, и вспоминал. Зимой кончился ток, завод стал. Он таскал воду в бочках между сугробами, ел хрен в столовой, спал под полушубком, разбираал старые деревянные дома на дрова. Потом завод снова заработал, стал, как повелось говорить, делать «секреты» для фронта. Как Тимофей выжил, он сам не знал. Было и холодно и голодно, но он терпел все отлично и, когда пахнуло первым весенним теплом, ожил совсем.

— Ну как? — спрашивал в ту зиму Тимофея, видя его обычно с топором в руках, Парфений Иванович, закутанный до глаз шарфом. — Все живешь, брат?

— Все живу, — отвечал он простуженным голосом. — А что мне делается?

— Терпи, казак, атаманом будешь! — говорил Парфений Иванович.

Атаманом — не атаманом, а он стал самым умелым рабочим слесарного цеха, и у него уже были подручные.

Все это вспомнилось Тимофею как-то сразу, пока он сидел на зеленой скамейке. Он устал от мыслей, от их множества и пестроты. Он перестал думать и стал смотреть на деревья, на речку, на прохожих. Жизнь была странной. Он посмотрел на себя. Чисто одетый, опрятный, аккуратно работающий, не считаясь со временем, иногда по два дня не оставляющий цеха, он чувствовал себя счастливым. Но ведь в нескольких километрах от города сидели немцы, в воздухе гудели сторожевые са-

молеты или вдруг с непонятной быстротой начинали сыпаться снаряды...

Мимо него проходили по-весеннему одетые люди, какой-то мальчик ловил рыбу. Он стал смотреть на мальчика.

Мальчик был худой, остроносый, в серой куртке. Тимофей сначала рассеянно следил за этим рыболовом, но потом, когда мальчик встал и, взяв удочку на плечо, посвистывая, пошел к зеленой скамейке, Тимофея словно что-то толкнуло в бок. По мере того как мальчик подходил ближе к нему, Тимофей все яснее видел на его щеке коричневое большое пятно, как будто на щеке его застыл большой кофейный натек.

Когда мальчик находился уже совсем близко, Тимофей окликнул его:

— Эй, паренек, погоди минуточку!

Мальчик обернулся, оглядел Тимофея с головы до ног и сказал:

— Чего тебе?

— Присядь-ка на минутку, — сказал Тимофей, — если не торопишься.

— Я не тороплюсь, — ответил мальчик и сел на скамейку.

Тимофей молча разглядывал его. И мальчику это надоело.

— Что я тебе, картина? — сказал он. — Или говори что-нибудь, или я пойду...

— Вот быстрый какой! — сказал Тимофей. — А я вот медленно думаю.

— А ты думай быстрее.

Мальчик засмеялся, и тогда Тимофей спросил:

— Слышь, а где ты зимой жил?

— Где жил? — Мальчик свистнул. — Там сейчас ни одна крыса не живет. Наш дом разбомбили вчистую. Меня самого чуть не пришибло.

— Вот-вот, это я и спрашиваю, — сказал радостно Тимофей. — Дом с балконами, четырехэтажный, на углу вон там...

— Правильно. А что, ты тоже там жил? Или кого оттуда знаешь?

— Я там не жил, — сказал Тимофей. — А как тебя зовут?

— Шура Никитин.

— А скажи, Шура, что ты сейчас делаешь-то, учишь-ся или что?

— Мать померла, отец мобилизован, я у тетки живу. Работать хочу, да не знаю, куда и как, мал я...

— А сколько тебе?

— Пятнадцать будет.

— Чего мал? Ничего не мал! Хочешь, устрою тебя?

— Ты? — спросил недоверчиво Шура, во все глаза рассматривая Тимофея.

— Ну а кто же! — сказал гордо Тимофей. — Я тебе сейчас записку напишу к одному человечку.

— А ты кто сам-то?

— Я, брат, слесарь, и ты будешь слесарем. Теперь не смотри на лета. Ты из зимы-то вылез ничего?

— Ничего, как тепло стало — бегу, и ноги не ватные...

— То-то, значит будешь работать. Ты завод у моста знаешь?

— Знаю.

— Вот там я и работаю. Сейчас я напишу тебе записку.

Он вынул записную книжку, которой очень гордился, поспешил карандаш и написал крупными прямыми буквами: «Милый Парфений Иванович. Надо устроить ко мне Шуру Никитина. Я все вам расскажу, почему. А он тоже расскажет».

Он передал записку Шуре, и тот сказал удивленно:

— Как это ты подписался: «Я все живу»? Что это такое?

— Это для секрета. У нас с Парфением Ивановичем свой секрет. Не бойся, не подведу. Я тебе расскажу. Только, смотри, обязательно! Придешь? Не обманешь?

— А что мне обманывать? Конечно, приду. Меня отец немного слесарному учил. А ты мне скажи, почему меня остановил? Ты меня знаешь, что ли?

— Немного знаю, — сказал, вдруг смутившись, Тимофей. — Я тут живу недалеко, много раз видел...

— И ты мне что-то знаком, ей-богу знаком, — сказал Шура, — а вот не припомню. У меня, знаешь, после того как засыпало в доме, голова болит часто. А тебя я где-то видел, правда, правда...



— Да, наверно видел, — сказал уклончиво Тимофей. — Близко друг от друга живем, так как не видеть? Так приходи, смотри!..

Тимофей рассказал ему, где найти Парфения Ивановича.

— Приду, — сказал Шура прощаясь, взмахнул удочкой и пошел по набережной.

Тимофей смотрел ему вслед и никак не мог понять, почему он не открылся ему с самого начала. В первую минуту он усомнился, тот ли это мальчик, но имя и пятно на щеке подтвердили, что это тот.

В одну зимнюю ночь, когда особенно свирепо падали бомбы с темного, закрытого тяжелыми снежными тучами неба, команду, где работал Тимофей, вызвали к дому, который только что обвалился. Бомба попала в самую середину, и теперь в темноте чернел какой-то фантастический остов со многими перепутанными железными балками, и люди с фонарями рылись в грудах мусора, искали засыпанных.

Сначала Тимофей работал наверху завала, но потом его позвали вниз, и комиссар штаба района, внимательно посмотрев на него при свете «летучей мыши», спросил, решится ли он отрыть заваленного в нижнем этаже мальчика. Они подошли к черной дыре, откуда был слышен далекий слабый голос. Взрослому лаз был слишком узок. Тимофей надел каску, взял пилу-ножовку, молоток, зубило, топор и карманный электрический фонарь.

Он полез в дыру. Он твердо знал, что вернется с мальчиком, но для оставшихся это было вопросом. Завал стал оседать. Комиссар приказал прекратить верхние работы, и люди столпились внизу, возле лаза, по которому отправился на поиск Тимофей. Они ходили перед лазом, снег скрипел под их ногами, они переговаривались тихими голосами, и только комиссар с фонарем время от времени кричал в дыру, окликая Тимофея.

Три часа шаг за шагом полз Тимофей по узкому проходу, обдираясь о поломанную проволоку, гвозди и острые кирпичи. Он дополз до мальчика; лежа на спине, разобрал над ним кирпичи, освободил ему руку, дал ему фляжку с водой. Сил у Тимофея больше не осталось. Он осветил фонариком вокруг себя, чтобы точнее запомнить местоположение и все приметы, и пустился в обратный

путь. Когда он выбрался из завала, он был мокрый от пота, как крыса под дождем.

Он отдышался и снова полез отрывать мальчика. Так он работал еще шесть часов. И он отрыл мальчика. Когда он снова появился на краю лаза, выволакивая за собой спасенного, он не мог сказать ни слова от изнеможения. Он только слушал, как гудели вокруг люди, как кто-то сказал, хлопая его по плечу:

— А и силен ты, батюшка! Молодец!

Он слышал, что мальчика называют Шурой Никитиным. Он набрался сил подойти к нему только тогда, когда его уже брали на носилки, чтобы увезти в больницу, и при свете фонаря он увидел бледное лицо с большим кофейным пятном на щеке. Только это он и запомнил. Надо было продолжать работу, имелись другие, еще не извлеченные из-под обломков. И уже мельком Тимофей увидел сквозь пролом в стене, как санитарный автомобиль завернул за угол дома и скрылся из виду.

И сегодня здоровый Шура Никитин прошел мимо него с удочкой. Тимофей не мог не остановить его.

...Прошло несколько дней. Во время перерыва Тимофея позвали в контору цеха. Едва переступив порог, он заметил Парфения Ивановича с толстой самокруткой в зубах.

При виде Тимофея тот широко улыбнулся и сказал:

— Все-живешь, старина! Принимай пополнение.

Позади него, прикрываясь его широкой спиной, стоял Шура Никитин. Тимофей отлично его видел.

— Спасибо, Парфений Иванович, — сказал Тимофей. — Я все живу, верно. Пополнение приму.

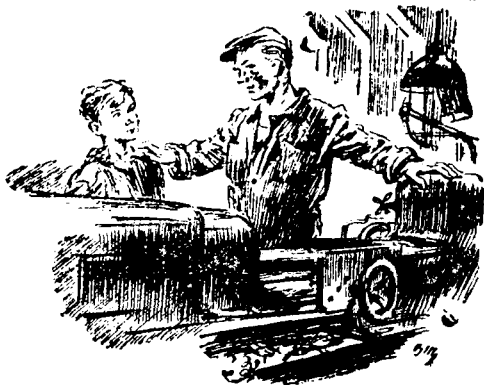
И тут же, при людях, наполнявших контору, Шура сказал:

— А что же ты скрыл, что ты Скобелев, который меня от смерти спас? Я ведь тебя не узнал. Прости, честное слово! Тогда видел тебя в потемках, а потом мы с тобой так изменились с зимы-то. Ты вот узнал меня, а я нет. Как вот ты меня на улице узнал?

Но Тимофею было стыдно сказать, что узнал он его по кофейному пятну на щеке. Он застеснялся, что-то пробормотал в ответ и пошел из цеховой конторы. За ним шли Шура и Парфений Иванович.

И когда они вошли в цех и перед ними раскрылся прохладный светлый зал, наполненный отсветами станков и блестками металлических стружек, Тимофей сказал Шуре:

— Что было, то прошло. А вот тут, брат, уж мы поработаем вдвоем! — И он жестом хозяина и мастера положил свою маленькую крепкую руку на холодную сталь станка.





## СОДЕРЖАНИЕ

Поединок . . . . .	3
Руки . . . . .	7
Мать . . . . .	12
Девушка . . . . .	18
Кукушка . . . . .	23
«Я все живу» . . . . .	30

*Школьники!*

*Напишите свой отзыв об этой книге. Укажите, какие книги вы хотели бы прочитать в «Военной библиотеке школьника».*

*Наш адрес: Москва, М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.*

**ДЛЯ СРЕДНЕГО И  
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

Отв. редактор *Б. Лукин.*  
Подписано к печати 5/IX  
1944 г. 2<sup>3/4</sup> печ. л. (2,1 уч.-  
взд. л.). 37 312 экз. в печ. л.  
Тираж 30 000 экз. Зак. 5853.  
Л80191. Цена 2 руб.

---

Ф-ка детской книги Детгиза  
Наркомпроса РСФСР.  
Москва, Сушеvский вал, 49.

11. 03 r.

EE-7

86

08